

Предисловие

Прошло пятьдесят лет со времени написания этой книги, и, переиздавая ее, я хочу ответить на вопрос, часто задаваемый мне: почему я написала ее, почему биографию и почему именно Чайковского? 1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали. Были выработаны некоторые законы, которым подчинялись авторы: отсутствие прямой речи, использование архивных документов, никакой прикрасы для завлечения читателя, никакой романсировки. Такие приемы (прошлого века), как диалоги, чтение мыслей, возможные встречи и ничем не оправданные детали, которыми, как когда-то считалось, оживлялся роман из жизни великого человека, описания природы, погоды: дурной — для усиления мрачных моментов его жизни или прекрасной — для подчеркивания радостной встречи, или вставки цитаты в прямую речь, иногда в полторы страницы, из статьи, написанной героем через двенадцать лет после описываемого разговора, были выброшены на Западе как хлам. К сожалению, в Советском Союзе до сих пор ими пользуются не только авторы “для широкой публики”, но даже ученые историки. Недавно автор одного труда по русской истории

XX века в Ленинграде написал книгу о Февральской революции и 1917 г., где признается, что “разрешал себе реконструировать прошлое на основе документальных материалов и воспоминаний” (чих?). К этому прибавлено примечание: “Редакция всех диалогов в книге принадлежит автору, поэтому он просит не рассматривать их как цитаты из исторических документов или мемуаров. В ряде случаев автор располагал только упоминанием о встрече тех или иных лиц и самим фактом наличия беседы между ними. Тогда диалог полностью относится к художественной форме передачи исторического материала”. На с. 31 даже дается пример: “Родзянко пожевал губами: «По Думе стало у нас в блоке большинство», — рассуждал про себя Родзянко”.

Законы были даны, и в Европе, и в США началась мода на совершенно новые (не романсированные, но серьезные) биографии. Никого не забыли, ни древних, ни новых, ни поэтов, ни политиков, ни художников, ни знаменитых любовников. Биографии раскупались быстро, и большинство имело успех. Я чувствовала, что хочу поработать в этой области. Выбор был найден очень скоро, в начале 1930-х гг., в издательстве “Академия” сначала в Ленинграде, а потом в Москве вышло несколько томов архивных материалов о П.И. Чайковском: переписка его с Н.Ф. фон Мекк, переписка с близкими, неизданный дневник (еще в 1923 г.), воспоминания современников. Все это было снабжено примечаниями, имевшими прямое отношение не столько к его музыке, сколько к нему самому, к его личности и жизни. Возрождение жанра и обилие документации были двумя основными причинами моего решения.

Третьей причиной, для меня важной, было то, что мой издатель М.С. Каплан (Дом книги, rue de l'Éperon, в Париже) не только сочувствовал моему проекту, но и обещал издать мою книгу и даже платить мне авторские. Кроме того, так как

я регулярно помещала (главным образом по воскресеньям) мои рассказы и очерки в ежедневной русской газете “Последние новости”, я предвидела, что смогу давать вместо рассказов главы из будущей книги. Это с точки зрения материальной было мне необходимо, без регулярного сотрудничества в газете я не могла свести концы с концами, я жила исключительно литературным трудом.

Но были еще факты, сыгравшие не менее значительную роль в моем решении: поколение людей, знавших Чайковского в своей молодости, рожденное в 1860–70 гг., доживало свой век. Я решила встретиться с ними и говорить с ними — с Рахманиновым, с Глазуновым, с вдовой брата Чайковского, Анатолия Ильича (бывшего губернатора Саратова и члена Государственного совета), с первой Татьяной — Марией Николаевной Климентовой, с внуками фон Мекк. Эти люди приняли меня, говорили со мной. Без их помощи я никогда не смогла бы написать своей книги. Среди них был и Владимир Николаевич Аргутинский, который ответил почти на все мои вопросы.

С Аргутинским, снимавшим в 1893 г. комнату у Модеста Ильича, где умер Петр Ильич, я могла говорить о тайне. О той тайне, которую, я твердо была убеждена, настало время раскрыть. Впрочем, она была раскрыта уже в 1923 г., когда Ипполит Ильич опубликовал дневник конца восьмидесятых годов. Он в это время постепенно переводился на большинство европейских языков. На Западе это было время, когда об интимных сторонах человека стали говорить открыто. Отчасти — благодаря Фрейду, отчасти — благодаря общему повороту литературы к затаенным сторонам человека. Андрогинизм начал пониматься не как болезнь, которую нужно и можно лечить, хотя бы и насильно, и не как преступление, за которое необходимо карать, а как опыт, через который проходит около

20% людей, из которых три четверти позже просто забывают его или вырастают из него. Я только позже поняла, почему пять или шесть ближайших друзей моего отца и моей матери мне казались, в раннем детстве, чем-то непохожими на остальных их знакомых — они никогда не были женаты, у них не было детей, и их почему-то шутя дразнили, что они “живут с племянниками”, но эти племянники никогда не приглашались к нам в гости!

Русские читатели моей книги не могли оставаться в неведении. Я поняла, что мне предстоит задача коснуться проблемы, до которой до сих пор почти никто не касался. Я не могла притвориться, что Дневника, изданного Ипполитом Ильичом, никогда не было, и не только не могла, но и не хотела.

В русской эмигрантской газете, где редактором был П.Н. Милюков, цензура касательно любовных вкусов великих людей была довольно строгая, но с первого же напечатанного мной отрывка (раннее детство) читатели, как и сами редакторы газеты, видимо, проявили к книге интерес. Эти ранние главы увидели свет до того, как я стала интервьюировать людей, знавших Чайковского, и они дали им возможность узнать о самом факте моей работы над книгой и, может быть, судить о ее качестве.

Сергей Васильевич Рахманинов в то время был в Париже, куда приезжал давать свой ежегодный концерт. Он жил в отеле “Мажестик” (на авеню Клебер), но не в самом здании гостиницы, а во дворе, в огромном нарядном флигеле, где снимал одну из удобных и просторных квартир отеля, пользуясь всеми благами этой, одной из лучших тогда, гостиницы Парижа.

С высоты своего роста, который, несмотря на его сутулость, был так для него характерен, он смотрел не на меня, а поверх меня. Неподвижное, длинное его лицо и необычайно длинные руки, негромкий, даже несколько монотонный голос были

очень характерны для него. Многое он сказал мне тогда, что я тогда же записала с его позволения, но самым ценным был его рассказ о той маске, которую Чайковский как бы носил всю жизнь и которая исчезла с его лица в день его смерти. Всю жизнь он ходил как бы в мягких туфлях, редко поднимая голос, и в его лице всегда должна была быть та приятность и мягкость, о которой помнили все, кто его знал. Не только постоянная мысль, как бы кого не обидеть или не задеть, но и правило: как бы даже не спорить ни о чем, чтобы ни в коем случае не раздражить собеседника. Да, иногда и важный, и холодный с незнакомыми молодыми (особенно с “барышнями”), упорный в беседах с “кучкой”, но это, по словам Сергея Васильевича, были исключения, — уже на следующий день — обычная нежность к Н.А. Римскому, полная гармония при встрече с Бородиным, всегда уважительный тон при встрече с Балакиревым. Стекло-анный мальчик — как его называла в детстве Фанни, гувернантка в Воткинске, бархатный мальчик — до самого конца.

Глазунов принимал меня сидя у рояля, тучный, тяжелый, медлительный, с сигарой во рту, давно потухшей, но все еще сыпавшей свой пепел между клавишами. Квартира была темной, с тяжелой мебелью. Он сам открыл мне дверь и после часового разговора сам вывел меня на лестницу. Он ни разу не улыбнулся. Он несколько раз начинал свой рассказ словами: “Мы с Лядовым”... в санях, вечером с *ним* возвращались (с концерта?)... “Мы с Лядовым” в санях садились друг другу на колени, чтобы *ему* дать место. “Извозчицьи сани, помните, в Питере были такие узкие...” Да, этому великану они, конечно, были узки, и запахнуть полость было, вероятно, не легко. От Лядова и саней разговор перешел к недостаткам Петра Ильича: у него их не было, сказал Александр Константинович, просто не было в характере. Была, конечно, личная, интимная его проблема, но она никого из нас не беспокоила, у каждого

из нас есть тайны, спокойно говорил он мне, пора к этому привыкнуть. (Сам он, как Тургенев, как Джон Рескин, как герой набоковской “Лолиты”, любил совсем юных девочек и... женился на матери одной из них.)

На крышке рояля стоял стакан с красным вином, и Глазунов несколько раз вставал и отпивал из него. Он признался, что многое за последний год забыл, что он все хотел записать, но не записал, и, вынув окурок сигары изо рта, поцеловал мне руку на прощание.

Побывала я и у Прасковьи Владимировны Чайковской, урожденной Коншиной, когда-то известной московской красавицы, роман которой с Антоном Рубинштейном не был тайной в Москве. (А Николай Григорьевич мне не достался, весело сказала она мне, он достался Третьяковой.) Сперва она не поверила, что я та самая, которая пишет биографию Петруши, она думала, что я ее сверстница, и прислала вместо себя кого-то другого. Я, идя к ней, приготовилась к твердому ответу, если она будет требовать убрать некоторые намеки на его ранние отношения с Апухтиным (двенадцати и тринадцати лет) и в дальнейшем интимных тем не касаться. Но вышло совсем по-другому: она попросила в будущем издании убрать тот факт, что, когда по ночам Петр Ильич работал — за письменным столом и роялем, — Алеша (слуга) приносил ему перед сном рюмочку коньяку. Ее просьба сводилась к следующему: вы написали, что это случалось каждую ночь, напишите, что это случалось раз в неделю. А то подумают, что он был алкоголиком. Я старалась перевести разговор на другие рельсы и повернуть к интимным темам, но она, к моему удивлению, только и ждала, чтобы об этом поговорить. “Я у него поклонника отбила в Тифлисе, когда он у нас гостил”, — весело улыбаясь, сказала она мне. “Это был Вергинский”, — ответила я. “Да, это был Вергинский, и Петя никогда не мог простить мне этого”.

На мой вопрос, как реагировало общество, в котором она цвела и блистала, она ответила, улыбаясь лукаво, что никто ничему не удивлялся, все более или менее этим занимались в юности, а девять великих князей были этим известны. (По моему счету их было восемь.) Надо было только “вести себя прилично и не скандалить”. Апухтин свои любовные стихи писал всю жизнь “о ней”, не “о нем”, он развратил Петра Ильича, будучи в тринадцать лет любовником Шильдера-Шульдера, классного наставника, бывшего возлюбленного вел. кн. Константина Константиновича, человека женатого и имевшего семь человек детей, — он был, кстати, директором училища Правоведения и отмечал Петю.

Затем, взглянув на меня как-то особенно значительно, она сказала, что о таком поведении Чайковского у нее есть в сундуке один интересный документ — дневник Петра Ильича, где он пишет об Эдуарде.

Я окаменела. В углу комнаты, где она жила (в русском обществе в Нейи для одиноких старушек, которым заведовала вдова бывшего виленского губернатора и члена Государственного совета Любимова), стоял большой, видимо, еще русский сундук. Осторожно я наводила ее на содержание дневника. Оказалось, что это та самая тетрадь, которую Ипполит Ильич выпустил в свет в 1923 году в Петрограде. Прасковья Владимировна не поверила, когда я сказала ей, что этот дневник можно найти в библиотеках, что я его читала. Она думала, что этот дневник был напечатан в одном экземпляре и она была единственная, которая читала его. Сейчас он переведен на многие (если не все) европейские языки.

Я попросила ее позволения тут же кое-что записать, я продолжала записывать в метро и дома прямо села к столу. И писала до полуночи.

Знакомство наше продолжалось с 1936 до 1947 г. У меня от нее сохранилось 16 писем, она бывала у меня, я изредка наве-

щала ее. Дочь ее, Татьяна Анатольевна, по первому мужу Веневитинова, по второму — баронесса Унгерн-Штернберг, была третий раз замужем за англичанином и жила в Лондоне. Прасковья Владимировна одно время гостила у нее. В Париже, уже во время войны, я познакомилась с ее внуком, Веневитиновым, который назывался Мирóк. А после войны — с одной из двух внучек, приезжавшей из Лондона и в это время начавшей развод со своим английским мужем. Когда П.В. при мне упрекала ее за это и говорила, что “этот муж умный, интересный, ученый человек”, она отвечала: “Бабушка, мне с ним скучно”.

Вот несколько отрывков из писем П.В. ко мне:

11 мая 1936. *61 Goldhurst Terrace. London N. III. 6.*

Дорогая Нина Николаевна,

Вы не можете себе представить, какое удовольствие Вы мне доставили Вашим драгоценным для меня подарком. Я наслаждаюсь, читая живо, ярко и трогательно описанное Вами детство П.И. К сожалению, я не могу сразу без остановки...

Вы мне говорили, что Извольская переводит Вашу книгу — на каком языке? На французском или английском? Если Вы еще ни с кем не сговорились насчет последнего, то моя дочь предлагает Вам свои услуги, она с удовольствием это сделает: ей принесли дневник П.И. с просьбой его перевести, но она находит, что Ваша книга интереснее будет у публики, — нахожу и я. Половина его дневника может быть интересна для самых его близких, как напр., для меня, т. к. я сама присутствовала в этой жизни... Он не хотел, чтобы он был напечатан.

Я не знала, что Вы искали сведения о П.И. от Глазунова, Рахманинова и Володи Аргутинского, и Волконского. В Рахманинове он первый увидел будущую знаменитость... Глазуно-

ва он любил, и многое из его сочинений ему нравилось. Волконского он не любил, а Володя Аргут. был при его жизни сначала прелестным мальчиком, а потом симпатичным юношей, но когда он узнал, что у П.И. холера, он убежал и не показывался до его похорон.

Ваша статья о Глазунове мне очень понравилась, но Вы идеализировали его наружность и его дар слова. Быть может, он на старости лет изменился, но когда я его видела в Петербурге — и довольно часто, — он наводил на меня тоску: он изредка молчал, смотрел бессмысленно куда-то вдаль и всегда был пьян. Я не знала, что он женат, — когда он женился и на ком? И видели ли Вы ее?

7 февраля 1937. Лондон.

Очень рада была получить Ваше фото. В шляпе Вы больше похожи, но на обеих хуже, чем Вы есть.

Когда я читала в “Последних новостях” Ваши фельетоны, то воображала Вас сухой, худой старушонкой, с серо-желтым лицом и большим крепковатым носом, с тонкими бледными губами, волосами *sel et poivre* [соль и перец], в нанковой серой юбке и такой же кофте. И вдруг является молодая, красивая, яркая и донельзя симпатичная женщина, с розами в руках — настоящая весна! И я этой женщине простила все зубы, которые имела против старушонки.

9 мая 1947. 41 rue de Plaisance / La Garenne — (Seine).

Дорогая Нина Николаевна,
Прочла Вашу статью в “Русской мысли”, восторгалась, плакала, и так захотелось Вас видеть, а мне редко кого хочется видеть. С тех пор, что я Вас видела, через многое пришлось пройти и многое пережить, но теперь жизнь у меня одно страданье, и я оживаю, только когда вижу своих друзей.

Я нигде не бываю и прошу Вас, дорогая, навестить меня, чем меня обрадуете.

Где Вы? В путешествии или дома? Когда получите мое письмо, протелефонируйте мне и мы сговоримся о нашем свидании. Я иногда приезжаю в Париж к доктору и тогда ночую у моей внучки. Я хочу быть с Вами вдвоем, чтобы никто нам не мешал.

Крепко вас обнимаю. Сердечно Ваша,
П. Чайковская

Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков умер в Париже в 1941 г. Я была у него в 1936 г. два раза. Он жил в своей квартире, в районе Елисейских Полей, которую снимал еще до войны 1914 г. Поблизости был не только дворец президента, но и центр больших антикварных магазинов. Он до конца своей жизни занимался “русским антиквариатом”. Он был невысок, но все еще красив, и в обхождении его с людьми было что-то особенное, старомодное, но никогда не смешное. Он сказал мне, что теперь он “старьевщик”, а когда-то был коллекционером.

Коридор, по которому он провел меня в комнату, был завален старыми холстами, рамами и подрамниками и просто хламом, где, вероятно, никаких сокровищ нельзя было бы найти. Аргутинскому я обязана детальным описанием последних дней холеры; он был четвертым, кто на простыне опустил Чайковского в ванну, полную воды комнатной температуры, накануне смерти, — не для того, чтобы вылечить его, а для того, чтобы облегчить его страдания. Он тогда снимал комнату в квартире Модеста на Морской (теперь Герцена), где жил и Боб Давыдов и где была комната Чайковского, когда он приезжал в Петербург. Четверо, опустившие тело в ванну, были Модест Ильич, Аргутинский, слуга Никифор и бывший лакей

Чайковского, Алеша, вызванный срочно из Клина, теперь женатый и отец семейства. Все четверо уже знали, что состояние Петра Ильича безнадежно.

С Аргутинским я говорила два раза. Александр Николаевич Бенуа дал мне мысль пойти к нему и попросил его меня принять. Он сказал мне, как бы случайно: Арго знает, кто был Эдуард. Задайте ему этот вопрос. Но ни в первый, ни во второй раз Владимир Николаевич на этот вопрос мне не ответил. Разговоры с ним навсегда вошли в мою память — о музыке Чайковского мы почти не говорили. Этой темы я, никогда не уважавшая дилетантства и не будучи музыковедом, в своей книге не могла касаться. У Владимира Николаевича оказались две темы: смерть Чайковского, при которой он присутствовал, и Боб Давыдов, племянник Чайковского и его последняя любовь. Он так сам мне и написал, когда я попросила принять меня (письмо было написано по старому правописанию):

Буду очень рад с Вами встретиться и рассказать Вам то немалое, что уцелело в моей памяти о Бобе Давыдове.

Но, конечно, и Боб Давыдов был мне в высшей степени интересен.

Во вторую встречу Аргутинский сказал мне, что говорил обо мне с нашим общим другом — Сергеем Михайловичем Волконским, бывшим директором государственных театров, а теперь театральным критиком в “Последних новостях”. С.М. был внуком декабриста Поджио и жены декабриста Волконского. Он с грустью сказал Аргутинскому, что ужасно жалеет, что “о нашем драгоценном Петре Ильиче” пишет женщина, а не “один из нас”!

Я заговорила с ним о том, что потомство Н.А. Римского-Корсакова, находящееся в эмиграции, распространяет слух,

что Чайковский вовсе не умер от холеры, а покончил самоубийством, и спросила его о причине такого слуха. Аргутинский сказал, что девицы Пургольд распускали эту ложь в отместку за то, что не смогли осуществить своих планов; одна решила выйти замуж за Мусоргского, другая — за Чайковского. Из этого ничего не вышло. Одна в конце концов вышла за Римского, а другая — за некоего Молласа. Обиженные дамы мстили жестоко: они были известны своим характером и нездоровой фантазией. А у Мусоргского были, как и у Балакирева, как позже у Скрябина, у каждого свои сложные и тайные проблемы. Аргутинский также напомнил мне о трех фактах, после которых не могло остаться никаких подозрений о скрытом самоубийстве: первый — отмена в России *предварительной* цензуры после 1905 г., когда вышли срочным порядком “Гавриилиада” Пушкина (в 1906 г.) и в 1912 г. собрание сочинений Оскара Уайльда (включая “*De Profundis*”), и другие важные произведения XIX века, бывшие до того под запретом. К этим же годам относится издание В.В. Розановым своей книги “Люди лунного света”. Второй факт: *полная* отмена цензуры (кроме военной) после Февральской революции и тогда же изменение 995-й статьи Российского свода законов, подвергавшей “изобличенного в мужеложстве и за него осужденного” наказанию значительно более слабому, чем закон 1885 г.

И предвоенные, и военные годы были расцветом славы Розанова и славы поэта Михаила Кузмина, и многих “разоблаченных”. Нет ни одного шанса, чтобы такая сенсация, как самоубийство русского композитора мировой известности из страха попасть под статью 995, не попало бы в печать — серьезную или бульварную, русскую или иностранную, и не вызвало бы открытого обсуждения!

Третий факт, о котором напомнил мне Аргутинский, был еще более серьезным: во второй половине 1880-х гг. была от-

крыта бацилла холеры. С этого дня больных холерой перестали насильно увозить в госпитали и закрывать гроб умерших от холеры немедленно после смерти. Было доказано, на трех международных медицинских съездах известными русскими, французскими, английскими и немецкими медиками, что холерная бацилла передается исключительно через испражнения холерных больных, через антисанитарную канализацию (или полное отсутствие ее), через невинскую воду, куда шли нечистоты, или в тех городах и селах, где питьевая вода проходила в почве, загрязненной фекалиями. (“Вестник общественной гигиены”, апрель, 1902 г.) После открытия бациллы ни от больного, ни от его мертвого тела никто уже не боялся заразиться холерой.

Несмотря на это, а также на свидетельство, официально подписанное лейб-медиком, д-ром Львом Бертенсоном (см. монументальный труд Герберта Вайнштока “Жизнь Чайковского”, А. Кноpf, N. Y., 1943), сенсационная версия самоубийства до сих пор остается в умах некоторых, видимо, недостаточно осведомленных людей, живучей. Несколько лет тому назад издательство Оксфордского университета, по слухам, даже собиралось издать книгу о том, как в 1966 г. “одной даме” сказал “один господин”, которому сказала “одна дама”, которой в 1902 г. сказал на смертном одре ее умирающий муж о том, что Чайковскому была дана пилюля “судьями” (шестью?), бывшими товарищами композитора по училищу Правоведения, посоветовавшими ему покончить с собой, чтобы не позорить “ни себя, ни Россию”. Впрочем, пилюли у них с собой не было, и они обещали ее принести Петру Ильичу на следующее утро, в квартиру Модеста Ильича, что ими и было сделано.

Чайковский смиренно подождал до утра, принял пилюлю, имея почти сутки на размышления. Он спокойно мог взять извозчика и поехать не домой, а прямо на Варшавский вокзал,